



Александр

КУПРИН



ЧУДЕСНЫЙ ДОКТОР

Рассказы



РЕКОМЕНДОВАНО
ЛУЧШИМИ
УЧИТЕЛЯМИ

*Классика
для
школьников*



Классика для школьников

Александр Куприн

Чудесный доктор. Рассказы

«Издательство АСТ»

1897–1927

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Куприн А. И.

Чудесный доктор. Рассказы / А. И. Куприн — «Издательство АСТ», 1897–1927 — (Классика для школьников)

ISBN 978-5-17-158200-5

Александр Иванович Куприн (1870–1938) – знаменитый русский писатель, автор романов, повестей, очерков и рассказов. Самые известные произведения Куприна, «Гранатовый браслет», «Олеся» и «Юнкера», сделали его классиком отечественной и мировой литературы. Его рассказы для детей учат с добротой относиться к людям и помогать им. Образцом милосердия и любви является герой рассказа «Чудесный доктор» профессор Пирогов. В детстве он и сам пережил чудесный случай, который сподвигнул его стать врачом и спасать людей. В сборник также вошли рассказы и повести «Тапёр», «Бонза», «Храбрые беглецы», «Ю-ю», «Белый пудель» и другие произведения из школьной программы.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-158200-5

© Куприн А. И., 1897–1927
© Издательство АСТ, 1897–1927

Содержание

Чудесный доктор	6
Тапёр	11
Бонза	18
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Александр Иванович Куприн

Чудесный доктор. Рассказы

© Савченков И.Ю., ил. на обл., 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Чудесный доктор

Следующий рассказ не есть плод досужего вымысла. Всё описанное мною действительно произошло в Киеве лет около тридцати тому назад и до сих пор свято, до мельчайших подробностей, сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдёт речь. Я, с своей стороны, лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой трогательной истории да придал устному рассказу письменную форму.

– Гриш, а Гриш! Гляди-ка, поросёнок-то... Смеётся... Да-а. А во рту-то у него!.. Смотри, смотри... травка во рту, ей-богу, травка!.. Вот штука-то!

И двое мальчуганов, стоящих перед огромным, из цельного стекла, окном гастрономического магазина, принялись неудержимо хохотать, толкая друг друга в бок локтями, но невольно приплясывая от жестокой стужи. Они уже более пяти минут торчали перед этой великолепной выставкой, возбуждавшей в одинаковой степени их умы и желудки. Здесь, освещённые ярким светом висящих ламп, возвышались целые горы красных крепких яблоков и апельсин; стояли правильные пирамиды мандаринов, нежно золотившихся сквозь окутывающую их папиросную бумагу; протянулись на блюдах, уродливо разинув рты и выпучив глаза, огромные копчёные и маринованные рыбы; ниже, окружённые гирляндами колбас, красовались сочные разрезанные окорока с толстым слоем розоватого сала... Бесчисленное множество баночек и коробочек с солёными, варёными и копчёными закусками довершало эту эффектную картину, глядя на которую оба мальчика на минуту забыли о двенадцатиградусном морозе и о важном поручении, возложенном на них матерью, – поручении, окончившемся так неожиданно и так плачевно.

Старший мальчик первый оторвался от созерцания очаровательного зрелища. Он дёрнул брата за рукав и произнёс сурово:

– Ну, Володя, идём, идём... Нечего тут...

Одновременно подавив тяжёлый вздох (старшему из них было только десять лет, и к тому же оба с утра ничего не ели, кроме пустых щей) и кинув последний влюблённо-жадный взгляд на гастрономическую выставку, мальчуганы торопливо побежали по улице. Иногда сквозь запотевшие окна какого-нибудь дома они видели ёлку, которая издали казалась громадной гроздью ярких, сияющих пятен, иногда они слышали даже звуки весёлой польки... Но они мужественно гнали от себя прочь соблазнительную мысль: остановиться на несколько секунд и прильнуть глазком к стеклу.

По мере того как шли мальчики, всё малолюднее и темнее становились улицы. Прекрасные магазины, сияющие ёлки, рысаки, мчавшиеся под своими синими и красными сетками, визг полозьев, праздничное оживление толпы, весёлый гул окриков и разговоров, разруганные морозом смеющиеся лица нарядных дам – всё осталось позади. Потянулись пустыри, кривые, узкие переулки, мрачные, неосвещённые кособогоры... Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком; низ его – собственно подвал – был каменный, а верх – деревянный. Обойдя тесным, обледенелым и грязным двором, служившим для всех жильцов естественной помойной ямой, они спустились вниз, в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскивали ошупью свою дверь и отворили её.

Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. Оба мальчугана давно успели привыкнуть и к этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, и к мокрым отрёпкам, сушившимся на протянутой через комнату верёвке, и к этому ужасному запаху керосинового чада, детского грязного белья и крыс – настоящему запаху нищеты. Но сегодня, после всего, что они видели на улице, после этого праздничного ликования, которое они чувствовали повсюду, их маленькие детские сердца сжались от острого, недетского страдания. В углу, на грязной широкой постели, лежала девочка лет семи; её лицо горело, дыхание было коротко и затрудни-

тельно, широко раскрытые блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно. Рядом с постелью, в люльке, привешенной к потолку, кричал, морщась, надрываясь и захлёбываясь, грудной ребёнок. Высокая, худая женщина, с измождённым, усталым, точно почерневшим от горя лицом, стояла на коленях около больной девочки, поправляя ей подушку и в то же время не забывая подталкивать локтем качающуюся колыбель. Когда мальчики вошли и следом за ними стремительно ворвались в подвал белые клубы морозного воздуха, женщина обернула назад своё встревоженное лицо.

– Ну? Что же? – спросила она отрывисто и нетерпеливо.

Мальчики молчали. Только Гриша шумно вытер нос рукавом своего пальто, переделанного из старого ватного халата.

– Отнесли вы письмо?.. Гриша, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?

– Отдал, – сирым от мороза голосом ответил Гриша.

– Ну, и что же? Что ты ему сказал?

– Да всё, как ты учила. Вот, говорю, от Мерцалова письмо, от вашего бывшего управляющего. А он нас обругал: «Убирайтесь вы, говорит, отсюда... Сволочи вы...»

– Да кто же это? Кто же с вами разговаривал?.. Говори толком, Гриша!

– Швейцар разговаривал... Кто же ещё? Я ему говорю: «Возьмите, дяденька, письмо, передайте, а я здесь внизу ответа подожду». А он говорит: «Как же, говорит, держи карман... Есть тоже у барина время ваши письма читать...»

– Ну, а ты?

– Я ему всё, как ты учила, сказал: «Есть, мол, нечего... Машутка больна... Помирает...» Говорю: «Как папа место найдёт, так отблагодарит вас, Савелий Петрович, ей-богу, отблагодарит». Ну, а в это время звонок как зазвонит, как зазвонит, а он нам и говорит: «Убирайтесь скорее отсюда к чёрту! Чтобы духу вашего здесь не было!..» А Володку даже по затылку ударил.

– А меня он по затылку, – сказал Володя, следивший со вниманием за рассказом брата, и почесал затылок.

Старший мальчик вдруг принялся озабоченно рыться в глубоких карманах своего халата. Вытащив наконец оттуда измятый конверт, он положил его на стол и сказал:

– Вот оно, письмо-то...

Больше мать не расспрашивала. Долгое время в душной, промозглой комнате слышался только неистовый крик младенца да короткое, частое дыхание Машутки, больше похожее на непрерывные однообразные стоны. Вдруг мать сказала, обернувшись назад:

– Там борщ есть, от обеда остался... Может, поели бы? Только холодный, – разогреть-то нечем...

В это время в коридоре послышались чьи-то неуверенные шаги и шуршание руки, отыскивающей в темноте дверь. Мать и оба мальчика – все трое даже побледнев от напряжённого ожидания – обернулись в эту сторону.

Вошёл Мерцалов. Он был в летнем пальто, летней войлочной шляпе и без калош. Его руки взбухли и посинели от мороза, глаза провалились, щёки облипли вокруг дёсен, точно у мертвеца. Он не сказал жене ни одного слова, она ему не задала ни одного вопроса. Они поняли друг друга по тому отчаянию, которое прочли друг у друга в глазах.

В этот ужасный, роковой год несчастье за несчастьем настойчиво и безжалостно сыпались на Мерцалова и его семью. Сначала он сам заболел брюшным тифом, и на его лечение ушли все их скудные сбережения. Потом, когда он поправился, он узнал, что его место, скромное место управляющего домом на двадцать пять рублей в месяц, занято уже другим... Началась отчаянная, судорожная погоня за случайной работой, за перепиской, за ничтожным местом, залог и перезалог вещей, продажа всякого хозяйственного тряпья. А тут ещё пошли болеть дети. Три месяца тому назад умерла одна девочка, теперь другая лежит в жару и без сознания.

Елизавете Ивановне приходилось одновременно ухаживать за больной девочкой, кормить грудью маленького и ходить почти на другой конец города в дом, где она подённо стирала бельё.

Весь сегодняшний день был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжать откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарство Машутке. С этой целью Мерцалов обегал чуть ли не полгорода, клянча и унижаясь повсюду; Елизавета Ивановна ходила к своей барыне, дети были посланы с письмом к тому барину, домом которого управлял раньше Мерцалов... Но все отговаривались или праздничными хлопотами, или неимением денег... Иные, как, например, швейцар бывшего патрона, просто-напросто гнали просителей с крыльца.

Минут десять никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука, на котором он до сих пор сидел, и решительным движением надвинул глубже на лоб свою истрёпанную шляпу.

– Куда ты? – тревожно спросила Елизавета Ивановна.

Мерцалов, взявшийся уже за ручку двери, обернулся.

– Всё равно, сидением ничего не поможешь, – хрипло ответил он. – Пойду ещё... Хоть милостыню попробую просить.

Выйдя на улицу, он пошёл бесцельно вперёд. Он ничего не искал, ни на что не надеялся. Он давно уже пережил то жгучее время бедности, когда мечтаешь найти на улице бумажник с деньгами или получить внезапно наследство от неизвестного троюродного дядюшки. Теперь им овладело неудержимое желание бежать куда попало, бежать без оглядки, чтобы только не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи.

Просить милостыни? Он уже попробовал это средство сегодня два раза. Но в первый раз какой-то господин в енотовой шубе прочёл ему наставление, что надо работать, а не клянчить, а во второй – его обещали отправить в полицию.

Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города, у ограды густого общественного сада. Так как ему пришлось всё время идти в гору, то он запыхался и почувствовал усталость. Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесённых снегом, опустился на низкую садовую скамейку.

Тут было тихо и торжественно. Деревья, окутанные в свои белые ризы, дремали в неподвижном величии. Иногда с верхней ветки срывался кусочек снега, и слышно было, как он шуршал, падая и цепляясь за другие ветви. Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившие сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины.

«Вот лечь бы и заснуть, – думал он, – и забыть о жене, о голодных детях, о больной Машутке». Просунув руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую верёвку, служившую ему поясом. Мысль о самоубийстве совершенно ясно встала в его голове. Но он не ужаснулся этой мысли, ни на мгновение не содрогнулся перед мраком неизвестного.

«Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать более краткий путь?» Он уже хотел встать, чтобы исполнить своё страшное намерение, но в это время в конце аллеи послышался скрип шагов, отчётливо раздавшийся в морозном воздухе. Мерцалов с озлоблением обернулся в эту сторону. Кто-то шёл по аллее. Сначала был виден огонёк то вспыхивающей, то потухающей сигары. Потом Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика небольшого роста, в тёплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил:

– Вы позволите здесь присесть?

Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамейки. Минут пять прошло в обоюдном молчании, в продолжение которого незнакомец курил сигару и (Мерцалов это чувствовал) искоса наблюдал за своим соседом.

– Ночка-то какая славная, – заговорил вдруг незнакомец. – Морозно... тихо. Что за прелесть – русская зима!

Голос у него был мягкий, ласковый, старческий. Мерцалов молчал, не оборачиваясь.

– А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил, – продолжал незнакомец (в руках у него было несколько свёртков). – Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти: очень уж здесь хорошо.

Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком, но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким движением повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками и задыхаясь:

– Подарочки!.. Подарочки!.. Знакомым ребятишкам подарочки!.. А я... а у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подышают... Подарочки!.. А у жены молоко пропало, и грудной ребёнок целый день не ел... Подарочки!..

Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлобленных криков старик поднимется и уйдёт, но он ошибся. Старик приблизил к нему своё умное, серьёзное лицо с седыми баками и сказал дружелюбно, но серьёзным тоном:

– Подождите... не волнуйтесь! Расскажите мне всё по порядку и как можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас.

В необыкновенном лице незнакомца было что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же без малейшей утайки, но страшно волнуясь и спеша, передал свою историю. Он рассказал о своей болезни, о потере места, о смерти ребёнка, обо всех своих несчастиях, вплоть до нынешнего дня. Незнакомец слушал, не перебивая его ни словом, и только всё пытливее и пристальнее заглядывал в его глаза, точно желая проникнуть в самую глубь этой наболевшей, возмущённой души. Вдруг он быстрым, совсем юношеским движением вскочил с своего места и схватил Мерцалова за руку. Мерцалов невольно тоже встал.

– Едемте! – сказал незнакомец, увлекая за руку Мерцалова. – Едемте скорее!.. Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но... поедemте!

Минут через десять Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в грязные, замаслившиеся подушки. Мальчишки хлебали борщ, сидя на тех же местах. Испуганные долгим отсутствием отца и неподвижностью матери, они плакали, размазывая слёзы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их в закопчённый чугунок. Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и, оставшись в старомодном, довольно поношенном сюртуке, подошёл к Елизавете Ивановне. Она даже не подняла головы при его приближении.

– Ну, полно, полно, голубушка, – заговорил доктор, ласково погладив женщину по спине. – Вставайте-ка! Покажите мне вашу больную.

И точно так же, как недавно в саду, что-то ласковое и убедительное, звучавшее в его голосе, заставило Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить всё, что говорил доктор. Через две минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям, Володя раздувал изо всех сил самовар, Елизавета Ивановна обворачивала Машутку согревающим компрессом... Немного погодя явился и Мерцалов. На три рубля, полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи. Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, который он вырвал из записной книжки. Окончив это занятие и изобразив внизу какой-то своеобразный крючок вместо подписи, он встал, прикрыл написанное чайным блюдечком и сказал:

– Вот с этой бумажкой вы пойдёте в аптеку... давайте через два часа по чайной ложке. Это вызовет у малютки отхаркивание... Продолжайте согревающий компресс... Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, во всяком случае пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас же предупрежу. Затем прощайте, господа! Дай бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнёсся к вам, чем этот, а главное – не падайте никогда духом.

Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, всё ещё не оправившимся от изумления, и потрепав мимоходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. Мерцалов опомнился только тогда, когда доктор уже был в коридоре, и кинулся вслед за ним.

Так как в темноте нельзя было ничего разобрать, то Мерцалов закричал наугад:

– Доктор! Доктор, постойте!.. Скажите мне ваше имя, доктор! Пусть хоть мои дети будут за вас молиться!

И он водил в воздухе руками, чтобы поймать невидимого доктора. Но в это время в другом конце коридора спокойный старческий голос произнёс:

– Э! Вот ещё пустяки выдумали!.. Возвращайтесь-ка домой скорей!

Когда он возвратился, его ожидал сюрприз: под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов...

В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством, чёткою рукою аптекаря было написано: «По рецепту профессора Пирогова».

Я слышал этот рассказ, и неоднократно, из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова – того самого Гришки, который в описанный мною сочельник проливал слёзы в закоптелый чугунок с пустым борщом. Теперь он занимает довольно крупный, ответственный пост в одном из банков, славя образцом честности и отзывчивости на нужды бедности. И каждый раз, заканчивая своё повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слёз:

– С этих пор точно благодетельный ангел снизошёл в нашу семью. Всё переменялось. В начале января отец отыскал место, Машутка встала на ноги, меня с братом удалось пристроить в гимназию на казённый счёт. Просто чудо совершил этот святой человек. А мы нашего чудесного доктора только раз видели с тех пор – это когда его перевозили мёртвого в его собственное имение Вишню. Да и то не его видели, потому что то великое, мощное и святое, что жило и горело в чудесном докторе при его жизни, угасло невозвратно.

Тапёр

Двенадцатилетняя Тиночка Руднева влетела, как разрывная бомба, в комнату, где её старшие сёстры одевались с помощью двух горничных к сегодняшнему вечеру. Взволнованная, запыхавшаяся, с разлетевшимися кудряшками на лбу, вся розовая от быстрого бега, она была в эту минуту похожа на хорошенького мальчишку.

– Mesdames, а где же тапёр? Я спрашивала у всех в доме, и никто ничего не знает. Тот говорит – мне не приказывали, тот говорит – это не моё дело... У нас постоянно, постоянно так, – горячилась Тиночка, топая каблуком о пол. – Всегда что-нибудь перепутают, забудут и потом начинают сваливать друг на друга...

Самая старшая из сестёр, Лидия Аркадьевна, стояла перед трюмо. Повернувшись боком к зеркалу и изогнув назад свою прекрасную обнажённую шею, она, слегка прищуривая близорукие глаза, закалывала в волосы чайную розу. Она не выносила никакого шума и относилась к «мелюзге» с холодным и вежливым презрением. Взглянув на отражение Тины в зеркале, она заметила с неудовольствием:

– Больше всего в доме беспорядка делаешь, конечно, ты, – сколько раз я тебя просила, чтобы ты не вбегала, как сумасшедшая, в комнаты.

Тина насмешливо присела и показала зеркалу язык. Потом она обернулась к другой сестре, Татьяне Аркадьевне, около которой возилась на полу модистка, подмётывая на живую нитку низ голубой юбки, и затараторила:

– Ну, понятно, что от нашей Несмеяны-царевны ничего, кроме наставлений, не услышишь. Танечка, голубушка, как бы ты там всё это устроила. Меня никто не слушается, только смеются, когда я говорю... Танечка, пойдём, пожалуйста, а то ведь скоро шесть часов, через час и ёлку будем зажигать...

Тина только в этом году была допущена к устройству ёлки. Не далее как на прошлое Рождество её в это время запирали с младшей сестрой Катей и с её сверстницами в детскую, уверяя, что в зале нет никакой ёлки, а что «просто только пришли полотёры». Поэтому понятно, что теперь, когда Тина получила особые привилегии, равнявшие её некоторым образом со старшими сёстрами, она волновалась больше всех, хлопотала и бегала за десятерых, попадаясь ежеминутно кому-нибудь под ноги, и только усиливала общую суету, царившую обыкновенно на праздниках в рудневском доме.

Семья Рудневых принадлежала к одной из самых безалаберных, гостеприимных и шумных московских семей, обитающих испокон века в окрестностях Пресни, Новинского и Конюшков и создавших когда-то Москве её репутацию хлебосольного города. Дом Рудневых – большой ветхий дом доекатерининской постройки, со львами на воротах, с широким подъездным двором и с массивными белыми колоннами у парадного, – круглый год с утра до поздней ночи кишел народом. Приезжали без всякого предупреждения, «сюрпризом», какие-то соседи по наровчатскому или инсарскому имению, какие-то дальние родственники, которых до сих пор никто в глаза не видал и не слышал об их существовании, – и гостили по месяцам. К Аркаше и Мите десятками ходили товарищи, менявшие с годами свою оболочку, сначала гимназистами и кадетами, потом юнкерами и студентами и, наконец, безусыми офицерами или щеголеватыми, преувеличенно серьёзными помощниками присяжных поверенных. Девочек постоянно навещали подруги всевозможных возрастов, начиная от Катиных сверстниц, приводивших с собою в гости своих кукол, и кончая приятельницами Лидии, которые говорили о Марксе и об аграрной системе и вместе с Лидией стремились на Высшие женские курсы. На праздниках, когда вся эта весёлая, задорная молодёжь собиралась в громадном рудневском доме, вместе с нею надолго водворялась атмосфера какой-то общей наивной, поэтической и шаловливой влюблённости.

Эти дни бывали днями полной анархии, приводившей в отчаяние прислугу. Все условные понятия о времени, разграниченном, «как у людей», чаем, завтраком, обедом и ужином, смешивались в шумной и беспорядочной суете. В то время когда одни кончали обедать, другие только что начинали пить утренний чай, а третьи целый день пропадали на катке в Зоологическом саду, куда забирали с собой гору бутербродов. Со стола никогда не убрали, и буфет стоял открытым с утра до вечера. Несмотря на это, случалось, что молодёжь, проголодавшись совсем в неуказанное время, после коньков или поездки на балаганы, отправляла на кухню депутацию к Акинфычу с просьбой приготовить «что-нибудь вкусненькое». Старый пьяница, но глубокий знаток своего дела, Акинфыч сначала обыкновенно долго не соглашался и ворчал на депутацию. Тогда в ход пускалась тонкая лесть: говорили, что теперь уже перевелись в Москве хорошие повара, что только у стариков и сохранилось ещё неприкосновенным уважение к святости кулинарного искусства и так далее. Кончалось тем, что задетый за живое Акинфыч сдавался и, пробую на большом пальце острие ножа, говорил с напускной суровостью:

– Ладно уж, ладно... будет петь-то... Сколько вас там, галчата?

Ирина Алексеевна Руднева – хозяйка дома – почти никогда не выходила из своих комнат, кроме особенно торжественных, официальных случаев. Урождённая княжна Ознобишина, последний отпрыск знатного и богатого рода, она раз навсегда решила, что общество её мужа и детей слишком «мескинно»¹ и «брютально»², и потому равнодушно «иньорировала»³ его, развлекаясь визитами к архиереям и поддержанием знакомства с такими же, как она сама, окаменелыми потомками родов, уходящих в седую древность. Впрочем, мужа своего Ирина Алексеевна не уставала даже и теперь тайно, но мучительно ревновать. И она, вероятно, имела для этого основания, так как Аркадий Николаевич, известный всей Москве гурман, игрок и щедрый покровитель балетного искусства, до сих пор ещё, несмотря на свои пятьдесят с лишком лет, не утратил заслуженной репутации дамского угодника, поклонника и покорителя. Даже и теперь его можно было назвать красавцем, когда он, опоздав на десять минут к началу действия и обращая на себя общее внимание, входил в зрительную залу Большого театра – элегантный и самоуверенный, с гордо поставленной на осанистом туловище, породистой, слегка седеющей головой.

Аркадий Николаевич редко показывался домой, потому что обедал он постоянно в Английском клубе, а по вечерам ездил туда же играть в карты, если в театре не шёл интересный балет. В качестве главы дома он занимался исключительно тем, что закладывал и перекладывал то одно, то другое недвижимое имущество, не заглядывая в будущее с беспечностью избалованного судьбой гран-сеньора. Привыкнув с утра до вечера вращаться в большом обществе, он любил, чтобы и в доме у него было шумно и оживлённо. Изредка ему нравилось сюрпризом устроить для своей молодёжи неожиданное развлечение и самому принять в нём участие. Это случалось большею частью на другой день после крупного выигрыша в клубе.

– Молодые республиканцы! – говорил он, входя в гостиную и сияя своим свежим видом и очаровательной улыбкой. – Вы, кажется, скоро все заснёте от ваших серьёзных разговоров. Кто хочет ехать со мной за город? Дорога прекрасная: солнце, снег и морозец. Страдающих зубной болью и мировой скорбью прошу оставаться дома под надзором нашей почтеннейшей Олимпиады Савичны...

Посылали за тройками к Ечкину, скакали сломя голову за Тверскую заставу, обедали в «Мавритании» или в «Стрельне» и возвращались домой поздно вечером, к большому неудовольствию Ирины Алексеевны, смотревшей брезгливо на эти «эскапады»⁴ дурного тона». Но

¹ Пошло, от *mesquin* (*фр.*).

² Грубо, от *brutal* (*фр.*).

³ Игнорировала (от *фр. ignorer*).

⁴ Проказы (от *фр. escapade*).

молодёжь нигде так безумно не веселилась, как именно в этих эскападах, под предводительством Аркадия Николаевича.

Неизменное участие принимал ежегодно Аркадий Николаевич и в ёлке. Этот детский праздник почему-то доставлял ему своеобразное, наивное удовольствие. Никто из домашних не умел лучше его придумать каждому подарок по вкусу, и потому в затруднительных случаях старшие дети прибегали к его изобретательности.

– Папа, ну что мы подарим Коле Радомскому? – спрашивали Аркадия Николаевича дочери. – Он большой такой, гимназист последнего класса... нельзя же ему игрушку...

– Зачем же игрушку? – возражал Аркадий Николаевич. – Самое лучшее купите для него хорошенький портсигар. Юноша будет польщён таким солидным подарком. Теперь очень хорошенькие портсигары продаются у Лукутина. Да, кстати, намекните этому Коле, чтобы он не стеснялся при мне курить. А то давеча, когда я вошёл в гостиную, так он папироску в рукав спрятал...

Аркадий Николаевич любил, чтобы у него ёлка выходила на славу, и всегда приглашал к ней оркестр Рябова. Но в этом году⁵ с музыкой произошёл целый ряд роковых недоразумений. К Рябову почему-то послали очень поздно; оркестр его, разделяемый на праздниках на три части, оказался уже разобранным. Маэстро в силу давнего знакомства с домом Рудневых обещал, однако, как-нибудь устроить это дело, надеясь, что в другом доме переменят день ёлки, но по неизвестной причине замедлил ответом, и когда бросились искать в другие места, то во всей Москве не оказалось ни одного оркестра. Аркадий Николаевич рассердился и велел отыскать хорошего тапёра, но кому отдал это приказание, он и сам теперь не помнил. Этот «кто-то», наверно, свалил данное ему поручение на другого, другой – на третьего, переврав, по обыкновению, его смысл, а третий в общей сумятице и совсем забыл о нём...

Между тем пылкая Тина успела уже взбудоражить весь дом. Почтенная экономка, толстая, добродушная Олимпиада Савична, говорила, что и взаправду барин ей наказывал распорядиться о тапёре, если не приедет музыка, и что она об этом тогда же сказала камердинеру Луке. Лука, в свою очередь, оправдывался тем, что его дело ходить около Аркадия Николаевича, а не бегать по городу за фортепьянщиками. На шум прибежала из барышнинных комнат горничная Дуняша, подвижная и ловкая, как обезьяна, кокетка и болтуня, считавшая долгом ввязываться непременно в каждое неприятное происшествие. Хотя её и никто не спрашивал, но она совалась к каждому с жаркими уверениями, что пускай её бог разразит на этом месте, если она хоть краешком уха что-нибудь слышала о тапёре. Неизвестно, чем окончилась бы эта путаница, если бы на помощь не пришла Татьяна Аркадьевна, полная, весёлая блондинка, которую вся прислуга обожала за её ровный характер и удивительное умение улаживать внутренние междоусобицы.

– Одним словом, мы так не кончим до завтрашнего дня, – сказала она своим спокойным, слегка насмешливым, как у Аркадия Николаевича, голосом. – Как бы то ни было, Дуняша сейчас же отправится разыскивать тапёра. Покамест ты будешь одеваться, Дуняша, я тебе выпишу из газеты адреса. Постарайся найти поближе, чтобы не задерживать ёлки, потому что сию минуту начнут съезжаться. Деньги на извозчика возьми у Олимпиады Савичны...

Едва она успела это произнести, как у дверей передней громко затрещал звонок. Тина уже бежала туда стремглав, навстречу целой толпе детишек, улыбающихся, румяных с мороза, запушённых снегом и внёсших за собою запах зимнего воздуха, крепкий и здоровый, как запах свежих яблоков. Оказалось, что две больших семьи – Лыковых и Масловских – столкнулись случайно, одновременно подъехав к воротам. Передняя сразу наполнилась говором, смехом, топотом ног и звонкими поцелуями.

⁵ Рассказ относится к 1885 г.; кстати заметим, что основная фабула его покоится на действительном факте, сообщённом автору в Москве М. А.З-вой, близко знавшей семью, названную в рассказе вымышленной фамилией Рудневых (*прим. авт.*).

Звонки раздавались один за другим почти непрерывно. Приезжали всё новые и новые гости. Барышни Рудневы едва успевали справляться с ними. Взрослых приглашали в гостиную, а маленьких завлекали в детскую и в столовую, чтобы запереть их там предательским образом. В зале ещё не зажигали огня. Огромная ёлка стояла посередине, слабо рисуясь в полутьме своими фантастическими очертаниями и наполняя комнату смолистым ароматом. Там и здесь на ней тускло поблёскивала, отражая свет уличного фонаря, позолота цепей, орехов и картонажей.

Дуняша всё ещё не возвращалась, и подвижная, как ртуть, Тина сгорала от нетерпеливого беспокойства. Десять раз подбегала она к Тане, отводила её в сторону и шептала взволнованно:

– Танечка, голубушка, как же теперь нам быть?.. Ведь это же ни на что не похоже.

Таня сама начинала тревожиться. Она подошла к старшей сестре и сказала вполголоса:

– Я уж не придумаю, что делать. Придётся попросить тётю Соню поиграть немного... А потом я её сама как-нибудь заменю.

– Благодарю покорно, – насмешливо возразила Лидия. – Тётя Соня будет потом нас целый год своим одолжением донимать. А ты так хорошо играешь, что уж лучше совсем без музыки танцевать.

В эту минуту к Татьяне Аркадьевне подошёл, неслышно ступая своими замшевыми подошвами, Лука.

– Барышня, Дуняша просит вас на секунду выйти к ним.

– Ну что, привезла? – спросили в один голос все три сестры.

– Пожалуйте-с. Извольте-с посмотреть сами, – уклончиво ответил Лука. – Они в передней... Только что-то сомнительно-с... Пожалуйте.

В передней стояла Дуняша, ещё не снявшая шубки, закиданной комьями грязного снега. Сзади её копошилась в тёмном углу какая-то маленькая фигурка, разматывавшая жёлтый башлык, окутывавший её голову.

– Только, барышня, не браните меня, – зашептала Дуняша, наклоняясь к самому уху Татьяны Аркадьевны. – Разрази меня бог – в пяти местах была и ни одного тапёра не застала. Вот нашла этого мальчика, да уж и сама не знаю, годится ли. Убей меня бог, только один и остался. Божится, что играл на вечерах и на свадьбах, а я почему могу знать...

Между тем маленькая фигурка, освободившись от своего башлыка и пальто, оказалась бледным, очень худощавым мальчиком в подержанном мундирчике реального училища. Понимая, что речь идёт о нём, он в неловкой выжидательной позе держался в своём углу, не решаясь подойти ближе. Наблюдательная Таня, бросив на него украдкой несколько взглядов, сразу определила про себя, что этот мальчик застенчив, беден и самолюбив. Лицо у него было некрасивое, но выразительное и с очень тонкими чертами; несколько наивный вид ему придавали вихры тёмных волос, завивающихся «гнёздышками» по обеим сторонам высокого лба, но большие серые глаза – слишком большие для такого худенького детского лица – смотрели умно, твёрдо и не по-детски серьёзно. По первому впечатлению мальчику можно было дать лет одиннадцать-двенадцать.

Татьяна сделала к нему несколько шагов и, сама стесняясь не меньше его, спросила нерешительно:

– Вы говорите, что вам уже приходилось... играть на вечерах?

– Да... я играл, – ответил он голосом, несколько сиплым от мороза и от робости. – Вам, может быть, оттого кажется, что я такой маленький...

– Ах, нет, вовсе не это... Вам ведь лет тринадцать, должно быть?

– Четырнадцать-с.

– Это, конечно, всё равно. Но я боюсь, что без привычки вам будет тяжело.

Мальчик откашлялся.

– О нет, не беспокойтесь... Я уже привык к этому. Мне случалось играть по целым вечерам, почти не переставая...

Таня вопросительно посмотрела на старшую сестру, Лидия Аркадьевна, отличавшаяся странным бессердечием по отношению ко всему загнанному, подвластному и приниженному, спросила со своей обычной презрительной миной:

– Вы умеете, молодой человек, играть кадрили?

Мальчик качнулся туловищем вперёд, что должно было означать поклон.

– Умею-с.

– И вальс умеете?

– Да-с.

– Может быть, и польку тоже?

Мальчик вдруг густо покраснел, но ответил сдержанным тоном:

– Да, и польку тоже.

– А лансье? – продолжала дразнить его Лидия.

– *Laissez done, Lidie, vous etes impossible*⁶, – строго заметила Татьяна Аркадьевна.

Большие глаза мальчика вдруг блеснули гневом и насмешкой. Даже напряжённая неловкость его позы внезапно исчезла.

– Если вам угодно, *mademoiselle*, – резко повернулся он к Лидии, – то, кроме полек и кадрилей, я играю ещё все сонаты Бетховена, вальсы Шопена и рапсодии Листа.

– Воображаю! – делано, точно актриса на сцене, уронила Лидия, задетая этим самоуверенным ответом.

Мальчик перевёл глаза на Таню, в которой он инстинктивно угадал заступницу, и теперь эти огромные глаза приняли умоляющее выражение.

– Пожалуйста, прошу вас... позвольте мне что-нибудь сыграть...

Чуткая Таня поняла, как больно затронула Лидия самолюбие мальчика, и ей стало жалко его. А Тина даже запрыгала на месте и захлопала в ладоши от радости, что эта противная гордышка Лидия сейчас получит щелчок.

– Конечно, Танечка, конечно, пускай сыграет, – упрасивала она сестру, и вдруг со своей обычной стремительностью, схватив за руку маленького пианиста, она потащила его в залу, повторяя: – Ничего, ничего... Вы сыграете, и она останется с носом... Ничего, ничего.

Неожиданное появление Тины, влекшей на буксире застенчиво улыбавшегося реалистика, произвело общее недоумение. Взрослые один за другим переходили в залу, где Тина, усадив мальчика на выдвижной табурет, уже успела зажечь свечи на великолепном шредеровском фортепиано.

Реалист взял наугад одну из толстых, переплетённых в шагрень нотных тетрадей и раскрыл её. Затем, обернувшись к дверям, в которых стояла Лидия, резко выделяясь своим белым атласным платьем на чёрном фоне неосвещённой гостиной, он спросил:

– Угодно вам «*Rapsodie Hongroise*»⁷ № 2 Листа?

Лидия пренебрежительно выдвинула вперёд нижнюю губу и ничего не ответила. Мальчик бережно положил руки на клавиши, закрыл на мгновение глаза, и из-под его пальцев полились торжественные, величавые аккорды начала рапсодии. Странно было видеть и слышать, как этот маленький человечек, голова которого едва виднелась из-за пюпитра, извлекал из инструмента такие мощные, смелые, полные звуки. И лицо его как будто бы сразу преобразилось, просветлело и стало почти прекрасным; бледные губы слегка полуоткрылись, а глаза ещё больше увеличились и сделались глубокими, влажными и сияющими.

Зала понемногу наполнялась слушателями. Даже Аркадий Николаевич, любивший музыку и знавший в ней толк, вышел из своего кабинета. Подойдя к Тане, он спросил её на ухо:

– Где вы достали этого карапуза?

⁶ Перестаньте же, Лидия, вы невозможны (*фр.*).

⁷ «Венгерская рапсодия» (*фр.*).

– Это тапёр, папа, – ответила тихо Татьяна Аркадьевна. – Правда, отлично играет?

– Тапёр? Такой маленький? Неужели? – удивлялся Руднев. – Скажите пожалуйста, какой мастер! Но ведь это безбожно – заставлять его играть танцы.

Когда Таня рассказала отцу о сцене, происшедшей в передней, Аркадий Николаевич покачал головой.

– Да, вот оно что... Ну, что ж делать, нельзя обижать мальчугана. Пускай играет, а потом мы что-нибудь придумаем.

Когда реалист окончил рапсодию, Аркадий Николаевич первый захлопал в ладоши. Другие также принялись аплодировать. Мальчик встал с высокого табурета, покрасневший и взволнованный; он искал глазами Лидию, но её уже не было в зале.

– Прекрасно играете, голубчик. Большое удовольствие нам доставили, – ласково улыбался Аркадий Николаевич, подходя к музыканту и протягивая ему руку. – Только я боюсь, что вы... как вас величать-то, я не знаю.

– Азагаров, Юрий Азагаров.

– Боюсь я, милый Юрочка, не повредит ли вам играть целый вечер? Так вы, знаете ли, без всякого стеснения скажите, если устанете. У нас найдётся здесь кому побренчать. Ну, а теперь сыграйте-ка нам какой-нибудь марш побравурнее.

Под громкие звуки марша из «Фауста» были поспешно зажжены свечи на ёлке. Затем Аркадий Николаевич собственноручно распахнул настежь двери столовой, где толпа детишек, ошеломлённая внезапным ярким светом и ворвавшейся к ним музыкой, точно окаменела в наивно изумлённых забавных позах. Сначала робко, один за другим, входили они в залу и с почтительным любопытством ходили кругом ёлки, задирая вверх свои милые мордочки. Но через несколько минут, когда подарки уже были розданы, зала наполнилась невообразимым гамом, писком и счастливым звонким детским хохотом. Дети точно опьянели от блеска ёлочных огней, от смолистого аромата, от громкой музыки и от великолепных подарков. Старшим никак не удавалось собрать их в хоровод вокруг ёлки, потому что то один, то другой вырывался из круга и бежал к своим игрушкам, оставленным кому-нибудь на временное хранение.

Тина, которая после внимания, оказанного её отцом Азагарову, окончательно решила взять мальчика под своё покровительство, подбежала к нему с самой дружеской улыбкой.

– Пожалуйста, сыграйте нам польку.

Азагаров заиграл, и перед его глазами закружились белые, голубые и розовые платица, короткие юбочки, из-под которых быстро мелькали белые кружевные панталончики, русые и чёрные головки в шапочках из папиросной бумаги. Играя, он машинально прислушивался к равномерному шарканью множества ног под такт его музыки, как вдруг необычайное волнение, пробежавшее по всей зале, заставило его повернуть голову ко входным дверям.

Не переставая играть, он увидел, как в залу вошёл пожилой господин, к которому, точно по волшебству, приковались глаза всех присутствующих. Вошедший был немного выше среднего роста и довольно широк в кости, но не полн. Держался он с такой изящной, неуловимо небрежной и в то же время величавой простотой, которая свойственна только людям большого света. Сразу было видно, что этот человек привык чувствовать себя одинаково свободно и в маленькой гостиной, и перед тысячной толпой, и в залах королевских дворцов. Всего замечательнее было его лицо – одно из тех лиц, которые запечатлеваются в памяти на всю жизнь с первого взгляда: большой четырёхугольный лоб был изборождён суровыми, почти гневными морщинами; глаза, глубоко сидевшие в орбитах, с повисшими над ними складками верхних век, смотрели тяжело, утомлённо и недовольно; узкие бритые губы были энергичны и крепко сжаты, указывая на железную волю в характере незнакомца, а нижняя челюсть, сильно выдвинувшаяся вперёд и твёрдо обрисованная, придавала физиономии отпечаток власти и упорства. Общее впечатление довершала длинная грива густых, небрежно заброшенных назад волос, делавшая эту характерную, гордую голову похожей на львиную...

Юрий Азагаров решил в уме, что новоприбывший гость, должно быть, очень важный господин, потому что даже чопорные пожилые дамы встретили его почтительными улыбками, когда он вошёл в залу, сопровождаемый сияющим Аркадием Николаевичем. Сделав несколько общих поклонов, незнакомец быстро прошёл вместе с Рудневым в кабинет, но Юрий слышал, как он говорил на ходу о чём-то просившему его хозяину:

– Пожалуйста, добрейший мой Аркадий Николаевич, не просите. Вы знаете, как мне больно вас огорчать отказом...

– Ну хоть что-нибудь, Антон Григорьевич. И для меня, и для детей это будет навсегда историческим событием, – продолжал просить хозяин.

В это время Юрия попросили играть вальс, и он не услышал, что ответил тот, кого называли Антоном Григорьевичем. Он играл поочерёдно вальсы, польки и кадрили, но из его головы не выходило царственное лицо необыкновенного гостя. И тем более он был изумлён, почти испуган, когда почувствовал на себе чей-то взгляд, и, обернувшись вправо, он увидел, что Антон Григорьевич смотрит на него со скучающим и нетерпеливым видом и слушает, что ему говорит на ухо Руднев.

Юрий понял, что разговор идёт о нём, и отвернулся от них в смущении, близком к непонятному страху. Но тотчас же, в тот же самый момент, как ему казалось потом, когда он уже взрослым проверял свои тогдашние ощущения, над его ухом раздался равнодушно-повелительный голос Антона Григорьевича:

– Сыграйте, пожалуйста, ещё раз рапсодию № 2.

Он заиграл, сначала робко, неуверенно, гораздо хуже, чем он играл в первый раз, но понемногу к нему вернулись смелость и вдохновение. Присутствие того, властного и необыкновенного человека почему-то вдруг наполнило его душу артистическим волнением и придало его пальцам исключительную гибкость и послушность. Он сам чувствовал, что никогда ещё не играл в своей жизни так хорошо, как в этот раз, и, должно быть, не скоро будет ещё так хорошо играть.

Юрий не видел, как постепенно прояснялось хмурое чело Антона Григорьевича и как смягчалось мало-помалу строгое выражение его губ, но когда он кончил при общих аплодисментах и обернулся в ту сторону, то уже не увидел этого привлекательного и странного человека. Зато к нему подходил с многозначительной улыбкой, таинственно подымая вверх брови, Аркадий Николаевич Руднев.

– Вот что, голубчик Азагаров, – заговорил почти шёпотом Аркадий Николаевич, – возьмите этот конвертик, спрячьте в карман и не потеряйте, – в нём деньги. А сами идите сейчас же в переднюю и одевайтесь. Вас доведёт Антон Григорьевич.

– Но ведь я могу ещё хоть целый вечер играть, – возразил было мальчик.

– Тсс!.. – закрыл глаза Руднев. – Да неужели вы не узнали его? Неужели вы не догадались, кто это?

Юрий недоумевал, раскрывая всё больше и больше свои огромные глаза. Кто же это мог быть, этот удивительный человек?

– Голубчик, да ведь это Рубинштейн. Понимаете ли, Антон Григорьевич Рубинштейн! И я вас, дорогой мой, от души поздравляю и радуюсь, что у меня на ёлке вам совсем случайно выпал такой подарок. Он заинтересован вашей игрой...

Реалист в поношенном мундире давно уже известен теперь всей России как один из талантливейших композиторов, а необычайный гость с царственным лицом ещё раньше успокоился навсегда, от своей бурной, мятежной жизни, жизни мученика и триумфатора. Но никогда и никому Азагаров не передавал тех священных слов, которые ему говорил, едучи с ним в санях, в эту морозную рождественскую ночь, его великий учитель.

Бонза

Это было в ночь под светлое Христово воскресенье. Я и мой близкий приятель, доктор Субботин, долго ходили по улицам города, приглядываясь к его праздничному, так необычному в ночное время, движению и изредка обмениваясь впечатлениями. Я очень любил общество доктора. Несколько лет тому назад у него умерло четверо детей, и в конце концов жена оставила доктора, после того, как обоим убедились, что они не понимают друг друга со дня женитьбы. Да и вообще во всей своей жизни Субботин был неудачником, от школьной скамьи и до седых волос. Но несчастья не озлобили и не очерстили его сердца, а только придали его манерам, голосу, всему его существу отпечаток ленивой грусти. Он был прекрасным собеседником и очень внимательным слушателем.

Наконец мы взобрались по длинной плитяной лестнице с широкими и низкими ступенями на самый верх Ярославовой горы, господствующей над всем городом, и уселись на одной из скамеек, устроенных для публики вдоль очень высокого и очень крутого обрыва. У наших ног расстился город. По двойным цепям газовых фонарей мы могли отсюда видеть, как подымались по соседним горам и вились вокруг них улицы. Сияющие колокольни церковью казались необыкновенно лёгкими и точно прозрачными. В самом низу, прямо перед нами, белела ещё не тронувшаяся река с черневшими на ней зловещими проталинами. Около реки, там, где летом приставали барки, уличные огни сбились в громадную запутанную кучу: точно большая процессия с зажжёнными фонарями внезапно остановилась на одном месте. Светила луна. В прозрачном воздухе, в глубоких, резких тенях от домов и деревьев, в дрожавших перебивах колокольного звона чувствовалась весенняя нежность...

Я сидел, растроганный воспоминаниями тех радостных и наивных ощущений, которые в детстве возбуждал в моей душе этот великий праздник. Мной постепенно овладела острая и сладкая грусть, всегда сопровождающая воспоминания детства, – нечто вроде бессильного сожаления о невозможности ещё раз испытать эти яркие и свежие впечатления.

И, как будто бы отзываясь на мои мысли, Субботин вдруг заговорил своим тихим, протяжным и грустным голосом:

– Каждый раз в эту ночь я никак не могу оторваться памятью от одного события из моей детской жизни. Странно: уж, кажется, меня жизнь так мыкала, что много есть чего вспоминать. Но всё стёрлось, выдохлось, поблекло, а эта незатейливая история стоит передо мной с такой удивительной живостью, будто она только вчера произошла. И когда я её кому-нибудь рассказываю, то опять переживаю самые мелкие мелочи своих тогдашних ощущений.

Я, более из вежливости, чем из любопытства, попросил доктора поделиться со мной этой историей (я видел, что ему очень хочется её рассказать). Сначала я слушал рассеянно и принуждённо, следя глазами за облаками, быстро набегавшими на месяц и внезапно проникавшими оранжевым сиянием. Но потом безыскусственный рассказ доктора мало-помалу увлёк меня и растрогал.

– Мне шёл тогда восьмой год. Говорят, что через каждые семь лет меняется у человека и наружность, и состав крови, и характер, и привычки. Может быть, в этом и есть доля правды. По-моему, семилетний возраст действительно влечёт за собою перелом в ребяческой душе: в это время дети так жадно и беспорядочно набираются впечатлений, что даже худеют и делаются рассеянными...

Мы жили в Москве. Отец был вечно занятый, серьёзный человек. У меня мало о нём сохранилось воспоминаний: ясно представляю себе только его лысую голову, длинную чёрную бороду с приятным запахом табака и белые, большие руки. Мать – кроткая, болезненная женщина, очень худая и рано состарившаяся – побаивалась своего мужа, была с ним нежна, с оттенком грусти, и постоянно куталась в серый платок из «козьего пуха». Нас, детей, было

трое: я и Зинаида – почти ровесники и старшая – Надежда, совершеннолетняя, уже невеста. В этом году, за неделю до Пасхи, возвратился из кругосветного плавания её жених – морской офицер, и гостил в Москве в ожидании Фоминой недели, на которой назначен был день свадьбы. Пребывание Николая Николаевича в нашем доме делало приближающийся праздник особенно торжественным. Я и Зина прекрасно знали, что за приготовления ведутся на кухне, и понимали, почему они гораздо пышнее, чем в прошлом году, но молчали. Дети почти всегда отлично понимают то, что им считают лишним объяснять, но из привычного недоверия к взрослым они очень ловко таят своё понимание.

Надежда важничала, чувствуя себя центром общего внимания и забот. Мы с Зиной отлично видели, что у неё в обыкновенное время не бывает ни той походки, ни того голоса, ни такой улыбки, как при женихе, и мы объяснили себе это тем, что Надька «ломается» и «что-то такое из себя строит, но у неё ничего не выходит». Часто, подсмотрев вечером в гостиной, как они целуются на диване, мы с невинным видом, взявшись за руки, проходили мимо них, заставляя их краснеть и отскакивать друг от друга. Ко мне Надежда относилась с тем презрительным, но сторожким невниманием, с каким всегда держат себя взрослые барышни по отношению к братьям-мальчишкам, всегда перепачканным, всегда готовым наступить на платье, угодить в лицо мячом или с разбегу подкатиться под ноги.

Зато Николая Николаевича мы обожали, в особенности я. Я прямо был влюблён в него, влюблён слепо, страстно и бескорыстно. Он казался мне образцом ума, силы и смелости. Я не изменял ему года четыре, и одним из моих любимейших развлечений в гимназии было иллюстрировать на маленьких, однообразного формата бумажках все те рассказанные им приключения из его жизни, которые я слушал и сохранял в памяти, как нечто священное. Да и нельзя было не любить этого высокого, сильного, краснощёкого красавца с оглушительным голосом и заразительным смехом, всегда готового возиться и школьничать. Он от чистого сердца играл иногда с нами, детьми, и сестра Надежда глядела тогда на него – о, как мы это хорошо видели! – с натянутой улыбкой на губах и с ревностью во взоре. Мы с Зиной показывали ей язык и исполняли за её спиной «пляску людоедов», едва она отворачивалась от нас.

Возвратившись из плавания, он всем нам привёз подарки: чесунчу, японские и китайские безделушки, зонтики, веера, кокосовые орехи... Особенно хороша была вещица, которую он подарил своей невесте. Она представляла миниатюрную японскую пагоду из старой бронзы, увешанную цепями, колокольчиками, медальонами и другими побрякушками. Дверцы пагоды были растворены настежь и позволяли видеть сидящего в ней на корточках фарфорового бонзу с качающейся головой. Эта игрушка казалась мне великолепнейшим созданием искусства. Верхом счастья для меня была бы возможность хоть немного подержать её в руках и самому заставить бонзу покачать головой. Но я отлично знал, что Надежда никому не позволяла прикасаться к своим вещам.

Наступила страстная суббота. Меня с сестрой то и дело высылали из комнаты в комнату, потому что мы всем мешали. «Хоть бы вы занялись чем-нибудь», – говорила мать, которой мы ежеминутно попадались под ноги. Но мы слишком были заинтересованы всем происходившим в доме, чтобы чем-нибудь заняться.

Вечером в полутёмной зале расставили столы, накрытые новыми скатертями. Заглядывая украдкой в двери, отворявшиеся лишь на мгновение, мы мельком видели покрывавшие эти столы куличи, пасхи, окорока, бутылки и ещё какие-то предметы. До нас доносился даже запах сдобного теста и ванили.

По мере того как приближалось время заутрени, наши нервы напрягались и волнение росло. В комнатах было темно, взрослые говорили мало и вполголоса, и всё это, в связи с таинственными приготовлениями в зале, настраивало нас на ожидание чего-то чудесного, прекрасного и неожиданного.

Однако мы так устали и переволновались за день, что часов в десять вечера уже не в силах были бороться со сном и прикорнули в углу широкого турецкого дивана в гостиной. Засыпая, я случайно слышал, как в зале разговаривали сдержанные голоса и звенела посуда.

Потом нас разбудили. Ещё не проснувшегося, дрожащего от холода и волнения, меня одели в лиловый бархатный костюмчик с белым кружевным воротником и повели в гостиную. Там уже все были в сборе: отец во фраке, надушенный и представительный, мать в палевом широком роброне, Надежда, казавшаяся чопорной, в белом платье, и Николай Николаевич в новом мундире, в широко открытой, ослепительно-белой, туго накрахмаленной рубашке. Все суетились, хотя и говорили вполголоса, а эти быстрые приготовления придавали нам такой вид, как будто бы мы составляли важный заговор.

Всё, что происходило дальше, слилось для меня в одно сплошное и сложное впечатление блеска и радости. Я помню в этом блаженном сне только некоторые моменты. Когда крестный ход, обойдя вокруг церкви, приблизился к распахнувшимся средним дверям входа, то ожидание чуда, которое сейчас, вот сию секунду должно произойти, наполнило меня трепетом радостного испуга. За дверями стройные голоса, как будто бы дрожащие от восторга, громко запели: «Христос воскрес из мёртвых». Священник вошёл в новой ризе и приветливым, звучным голосом, благословляя прихожан трёхсвечником, принёс нам ту радостную весть, которую мы так нетерпеливо ожидали: «Христос воскрес!» И я, замирая и холодея от восторга, сознавая, что и я участвую в общей великой радости, выкрикивал громко: «Воистину воскрес!»

Николай Николаевич, похристосовавшись со мною, поднял меня на руках кверху, и я увидел целое море обнажённых голов и горящих свеч. Я обернулся назад и увидел множество светлых и добрых лиц и много глаз, которые блестели, отражая пламя свеч. Даже сестра Надежда показалась прекрасной в этот момент. Лицо её, близко освещаемое свечой, сделалось белым и нежным, глаза потемнели и сверкали, от бровей падали на лоб длинные тени, и зубы красиво блестели, когда она улыбнулась, не поворачивая головы, Николаю Николаевичу.

Домой мы шли, держа в руках зажжённые свечи, стараясь, чтобы они не потухли. Но только одной маме удалось донести свечу, и она провела огнём от неё крест на косяке парадных дверей.

В зале было так светло и весело, что я не узнал её. Оживлённо разговаривая и шумя стульями, мы усаживались за стол. В это время сестра Надежда, пожимая плечами, сказала, что ей холодно. Растроганный заутреней и ожиданием многих вкусных вещей, я взялся принести ей из комнаты платок. Она согласилась, и, когда я со свечой в руках побежал из зала, она крикнула мне вслед:

– Только смотри ничего не трогай у меня на комодё!

Я очень скоро нашёл её платок, который лежал на спинке кресла, и уже вышел из дверей комнаты, как вдруг за моей спиной раздался звон и треск бьющегося фарфора. Я обернулся и увидел японскую пагоду лежащей на полу и рядом с ней разбитого бонзу.

Как это могло случиться, я не понимаю, но задеть игрушку я во всяком случае не мог, потому что проходил от неё шагах в пяти. Я поднял бонзу с полу и с чувством жалости к нему стал приставлять один к другому поломанные бока его туловища. Вдруг я услышал быстрые шаги Надежды, привлечённой, вероятно, шумом упавшей игрушки. Повинуясь мгновенному чувству страха, что меня могут заподозрить в нечаянной или умышленной порче сестриной вещи, я быстро бросил обломки на пол, но сделал это так неловко, что вбежавшая сестра заметила моё движение.

– Что ты наделал, дрянной мальчишка? – закричала она, хватая меня за плечо. – Ведь я тебе говорила, чтобы ты не трогал моих вещей. Как ты смел?.. Как ты смел?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.